

## ЖЕНЩИНА В ОБЩЕСТВЕ

Борис ЛАНИН

### Мир без женщин, или Целомудренность разврата

В средние века «diabulos» писали и под изображением черта, и под изображением женщины. В классической русской антиутопии Е. Замятина «Мы» главная героиня принадлежит к организации Мефи, называющейся так в честь Мефистофеля. Эту дьявольщину женские образы вносят во многие произведения антиутопического жанра.

Греховное начало в женских образах здесь гораздо более обусловлено жанровой природой антиутопий, нежели какой-то декларируемой авторами изначально испорченностью женской природы.

Для нас мир антиутопии — это мир окостеневшего ритуала, мир псевдокарнавала, где амбивалентность смеха подменена абсолютным страхом, где разрыв дистанции между людьми преодолевается не иронией и насмешкой, а доносом, где шутовские забавы и многочисленные обряды, связанные с производительной силой земли, вытесняются организованным свыше «умеренным», регламентированным развратом. Антиутопия — это всегда буйство плоти, протест тела против рациональности безжизненной мысли.

Замятинский герой *Д-503* чувствует в себе раздвоенность вовсе не потому, что он прозревает относительно неких истинных целей Благодетеля. Он пробужден к полнокровной духовной жизни прежде всего сексуальной активностью героини. Их история любви разворачивается таким образом, что продолжает традиционную расстановку классического русского романа: увлеченный эфемерными представлениями слабый мужчина и волевая влюбленная в него женщина, ничего, впрочем, от своего возлюбленного не добивающаяся. *1-330* — воплощение запретного. Она играет всеми карнавальными стихиями, меняет одежды, пользуется косметикой (для Единого Государства и то и другое — непростительная вольность), пьет восхитительное дурманящее вино и, наконец, любит мужчину искренне и самоотверженно, любит ради него самого.

В мужской цивилизации Единого Государства женщины несчастны, но не беспомощны. У них остается право на бунт, и этот бунт связан прежде всего с их женской природой: если для *1-330* подвигом становится сама бескорыстная влюбленность, то для *О-90*, чьими складочками на запястье сладострастно любитесь (а затем документально четко фиксирует свои любования) герой, поводом для бунта оказывается отлучение ее от материнства: «Милая *О!* — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся

*Ланин Б. А.* — кандидат филологических наук, специалист по советской и современной русской литературе.

кругло обточенная, и розовое *O* — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей»<sup>1</sup>.

Пародируя онегинские мотивы, Замятин заставляет свою героиню писать письмо ее избраннику. Ситуация становится еще комичнее от обстоятельств Единого Государства, где, подчинив себе голод, социум повел наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец, и эта стихия была тоже побеждена, т. е. организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен «наш исторический «*Lex sexualis*»: всякий из номеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой номер»<sup>2</sup>.

Обращаясь к возлюбленному *D-503*, *O-90* не забывает объяснить и необходимость в любовнике *R*. Моля о ребенке, *O* рискует жизнью, и *D-503* не в силах ей отказать:

«— Я не могу, я сейчас уйду... я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас —

— Я заложил назад руки, улыбнулся:

— Что? Захотелось Машины Благодетеля? И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова:— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней... Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день!».

«— Ну? Скорее...— я грубо стиснул ей руку и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястье, там — где пухлая детская складочка. Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз...»<sup>3</sup>.

Истинной героиней оказывается и *I-330*, которая прошла через все пытки, но не предала *D-503*, давно отказавшегося от нее, даже не узнающего своей возлюбленной в последней Записи.

Следует сказать, что хотя «Мы» Замятина — одна из первых антиутопий в русской литературе XX века, женская тема была заявлена еще в довольно забавной приключенческо-фантастической повести А. Осендовского «Женщины, восставшие и побежденные», носившей многие явные признаки антиутопии. В ней женщины представляли обозленными разрушительницами, мстящими мужской части человечества за все грехи новой цивилизации:

«Огнем восставшие женщины залили все культурные очаги трех континентов, а смятенная, охваченная безграничным животным страхом толпа, давя, терзая и силой стараясь спасти жизнь, обильно проливая свою кровь, оставляя на горящих улицах, среди пожарища целые горы трупов». Эти бутафорски «страшные» последствия всемирного женского заговора сопровождаются выражением в прокламациях некой теоретической платформы:

«Мы насчитываем в своих рядах,— говорилось в этих листках,— равное с вами, мужчины, число гениальных и энергичных людей. Почему же вы все еще предоставляете нам роль рабынь или ничтожных помощников ваших. Мы уже два месяца боремся с вами, и теперь решились. Огонь и кровь — вот отныне наш лозунг...».

Восставшие женщины были разгромлены, заключены в тюрьмы и судимы. Однако вместо смертной казни, учитывая, что «суфражистки были признаны типами явного вырождения, опасными для культурного общества и одержимыми заразной формой психоза», они были высланы на один из островков в Антарктике, причем автор с забавным пафосом, ужасаясь собственной выдумке, восклицает: «...и вот в эту-то область стужи и смерти культурное общество ссылало на неизбежную гибель своих матерей, жен и сестер за то, что их нравственные и умственные запросы требовали широкой деятельности и не могли

<sup>1</sup> Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990, с. 18.

<sup>2</sup> Там же, с. 28.

<sup>3</sup> Там же, с. 81, 82.

мириться с подчиненной ролью в общей работе на пользу всего человечества, великодушно принимающего от них плоды их гениальности и необычайной энергии»<sup>4</sup>.

Сюжетная интрига повести закручивается таким образом. Совестьливый, не обремененный исполнительностью и мужской солидарностью капитан быстроходного судна «Океан» Илья Максимович Седельников берет на борт, уступая ее просьбам, Ольгу Разину, дочь одной из пленниц. В плавании ему приходит в голову мысль облегчить страдания узниц, перевести их из трюма в каюты, после чего они постепенно захватывают наиболее важные посты на корабле.

Конечно же, капитан влюбляется в свою неожиданную пассажирку, но она остается вместе со всеми на пустынном острове Гарвея, в ссылке. Внезапно разбогатев, капитан возвращается за ней, но обнаруживает следы страшной катастрофы, погубившей сосланных женщин. После длинных неправдоподобных приключений капитан все же соединяется со своей возлюбленной, а остров погружается в пучину. Думаю, пересказ сюжета вполне характеризует «достоинства» повести.

Однако следующая за замятинской и оссендовской антиутопия дала кардинально противоположную трактовку женской темы. Б. Парамонов так определяет жанровое своеобразие Чевенгура: «...гностическая фантазия на подкладке гомосексуальной психологии»<sup>5</sup>.

Фактически весь «Чевенгур» враждебно противостоит женщине, связывая ее с буржуазной основательностью и с буржуазными накопительскими инстинктами. Происходит характерная подмена: «буржуазия» равна не только «природе», но и женщине; «баба» — опять же данность; косная материальная сила, для которой закрыта воодушевляющая, поднимающаяся от земли перспектива долженствования»<sup>6</sup>.

Женщина предстает перед чевенгурцами не в своей природной данности, а во всей чуждости враждебной идеологии. «В Чевенгуре,— пишет Парамонов,— существует лишь одна пара, связанная привычными «природными» отношениями: Прокофий Дванов и Клавдюша, наделенная автором отвратительной фамилией Клобзд; и эта пара как раз и занимается приобретением имущества. Нельзя было более ясно провести знак равенства между женщиной и «буржуазной» имущественной стихией, с одной стороны, и между нищетой, голодом и «товариществом», с другой стороны. Общий знаменатель здесь, как и во всех других формулах «Чевенгура»,— отвращение к данности, к естественному порядку»<sup>7</sup>. Отмеченное исследователем «отвращение к данности» характерно для антиутопического жанра вообще.

Типичное же равновесие между Эросом и Танатосом выражено в паре Копенкин—Роза Люксембург, и победа инстинкта смерти над инстинктом любви отражена в словах прохожей цыганки: «У вас вместо невест — могилы».

Поэтому утверждение «мужчины без женщин — таков образ мира, открывшийся в "Чевенгуре"»<sup>8</sup>, высказанное Парамоновым, исследователь может сопоставить со всем антиутопическим жанром и убедиться, что именно таков идеологический срез жанра антиутопии, где после «Мы» женщина никогда не бывает героем-идеологом.

Зато и в дальнейшем всегда сексуальная активность женских персонажей опережает мужскую. Удивительно, но практически нет русской антиутопии, где первый шаг навстречу сближению делал бы мужчина.

«Заказывают» своего партнера женщины в замятинском «Мы». В антиутопии М. Козырева «Ленинград» герою-революционеру предлагает свою дочь состоя-

<sup>4</sup> Оссендовский А. Женщины, восставшие и побежденные. М., 1915, с. 7, 10, 11.

<sup>5</sup> Парамонов Б. Чевенгур и окрестности. «Искусство кино», 1991, № 12, с. 128.

<sup>6</sup> Там же. с. 130.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же, с. 136.

тельная и надежная в классовом отношении соседка. В «Говорит Москва» Николая Аржака (Ю. Даниэля) на один день коммунистическое советское правительство разрешает гражданам совершать убийства. И вот после этого объявления убить своего мужа и тем самым утвердить их взаимоотношения предлагает Анатолию Карцеву его любовница. Настойчиво зазывает Андрея Воронина его будущая жена Сельма («Град обреченный» братьев Стругацких).

Не отстает от распутного однофамильца Виталия Карцева капитан госбезопасности Искрина, которой в «Москве 2042» В. Войновича доверено «сексуальное обслуживание» писателя-классика. Опять же первой заявляется к аксеновскому Андрею Лучникову Кристина, любовница его сына, урожденного крымчанина. С невинной открытостью мчится навстречу своему американскому другу-врачу Майклу юная Полина в детективной антиутопии Э. Тополя «Завтра в России» (на самом деле — поднаторевшая в подобных заданиях агент КГБ).

Даже от Ключарева в «Лазе» В. Маканина не отстают женщины, согревающие его не только теплом своих тел, но и радушным изобилием подземного быта. И женщина, которую Ключарев — беспортретный, невзрачный, незаметный на улицах опустевшего без прохожих и освещения города — вырвал из рук насильников, готова тут же, на перекрестке, отдаться ему просто так, из внезапно вспыхнувшей симпатии, а может, благодарности (хотя литературовед непременно подметит: «исходя из жанровой закономерности»).

Причем опыт этот вполне интернационален: первой назначает свидание Джулия из «1984», активистка антиполового союза, имеющая в своем женском активе на момент знакомства с Уинстоном Смитом сотни членов внутренней партии. А навязчивое бесстыдство Линайны-Ленины смущает и возмущает одновременно Дикаря в «Дивном новом мире» О. Хаксли.

С распутством героини мы встречаемся у В. Набокова в «Приглашении на казнь» (Марфинька), а в «Любимове» Абрама Терца (А. Синявского) Серафима Петровна взалхб рассказывает своему мужу Лене Тихомирову о бесчисленных своих добрачных романах, интрижках и просто сексуальных казусах, рассказывает смакуя, видя, но как бы не замечая взбешенности супруга:

«— Еще на моем горизонте вращался директор клуба. Твой тезка, Леонид Григорьевич. Очень оригинальный и образованный человек. С большим чувством юмора. Мы с ним увлеклись Генделем. На прощанье он подарил мне книгу японской лирики с надписью «Ты не Серафима, а Хиросима — я все в тебе имел, я все в тебе потерял». Вот видишь; потерял. Потом за мною полгода ухаживал Тевосян. Армянин. Ревнивец. Ревнивец тебя. Моряк душой и телом. Встретив меня случайно под руку с Изей, он чуть не зарубил Изю тесаком. Изя — это не в счет. Почти подросток. Ярко выраженный семит. Хилое растение. Бледно-голубой цветок Новалиса. Но если б ты мог представить, до чего живучи эти хилые стебельки. Я даже не знаю, рассказывать ли о нем. Вдруг это опять как-то тебя заденет, хотя...

...Однажды мы трое суток провели в Озерках на даче и ни разу даже не встали, чтобы полюбоваться природой. Бисквиты и крепкий бульон Изя собственноручно сервировал подле нашей худенькой раскладушки. Такую деликатность я встретила в мужчине еще только раз, у подполковника Алмазова. С ним мы познакомились по дороге сюда, в поезде, в отдельном купе. Старик, но еще очень живой. Я называла его «top colonel», хотя между нами почти ничего не было. Это был почти платонический роман, еще более мимолетный, чем с доктором Линде. Представь, мой милый Леонид, пока судьба не свела меня с тобою, я от скуки немного вскружила голову нашему доктору. Но только дважды имела глупость...»<sup>9</sup>.

Кто из них, этих бесчисленных развратных женщин в антиутопии лучше, моложе, красивее, элегантнее? Темпераментнее или симпатичнее? Кто брюнетка, кто шатенка, а кто «всех румяней и белее»? Мы этого не знаем. Женщины в

<sup>9</sup> Терц А. Собрание сочинений в 2-х томах. Т. 1. М., 1992, с. 93.

русской антиутопии *беспортретны*. Никак они не описаны, за редкими исключениями, одной-двумя деталями. И в этом — определенная жанровая нагрузка: женщины несут в себе «неописуемую» демоническую силу, развратную силу. Они сбивают героев с равновесной устойчивости в антиутопическом мире. Но именно благодаря женщинам антиутопический герой начинает свой центрбежный путь из ритуализированного мира антиутопии.

Вообще, регламентация жизни — важная структурная особенность антиутопии. Там, где царит ритуал, невозможно хаотичное движение личности. Напротив, ее движение запрограммировано. Сюжетный конфликт возникает тогда, когда личность отказывается от своей роли в ритуале и предпочитает свой собственный путь. В этом случае она неизбежно становится той «сывороткой», которая изменяет жанровое качество произведения, превращая утопию в антиутопию. Без нее нет динамичного развития сюжета. Антиутопия же принципиально ориентирована на *занимательность*, «интересность», развитие острых, захватывающих коллизий.

В антиутопии человек непременно ощущает себя в сложнейшем, иронико-трагическом взаимодействии с установленным ритуализированным общественным порядком. Его личная, интимная жизнь весьма часто оказывается чуть ли не единственным способом проявить свое «я». Отсюда — эротичность многих антиутопий, гипертрофированность сексуальной жизни героев либо преувеличенное — на первый взгляд — внимание к воссозданию сексуальных сцен и картин. Телесное оказывается возбудителем духовного, низменное борется с возвышенным, пытаясь пробудить его от сна. Нам представляется очевидной генетическая связь подобных сцен и этой тематики в целом с мениппейным сочетанием «философского диалога, высокой символики, авантюрной фантастики и трущобного натурализма»<sup>10</sup>.

Связь с мениппейными традициями легко проследить на антиутопии А. Зиновьева «Зияющие высоты». Об этом писали Н. Рубинштейн, П. Вайль и А. Генис, другие авторы. Само название антиутопической страны — Ибанск — позволяет весело упражняться в создании неблагозвучных словообразований. Интерес к тому, что М. Бахтин в книге о Ф. Рабле называл «материально-телесным низом», естественно, не мог не сказаться на трактовке Зиновьевым женских образов.

У Зиновьева женщина — объект неперменной сексуальной агрессии со стороны мужчины. Именно с этим связан и «идеал» женской красоты. Во фрагменте «Немного об искусстве» это показано следующим образом:

«Огрызком карандаша Мазила выцарапывает на стене губы обыкновенные рисунки, читал Инструктор. Уклонист, потрясенный, не может оторвать от них глаз и твердит Мазиле, что он — гений. Патриот говорит, что Мазила есть художник от слова «худо», и требует нарисовать голую бабу. Да чтобы при этом зад был поздоровее. Он, Патриот, любит, когда есть за что подержаться. Интеллигент говорит, что Патриот в своем художественном развитии остановился, судя по всему, на импрессионистах. Патриот говорит, что он не знает, кто такие импрессионисты, но зато знает, кто такие передвижники. Зашел Начальник Караула и сказал, что Мазила — художник от слова «худо», что лучше бы нарисовал голую бабу, да чтобы зад был поздоровее, поскольку он, Начальник Караула, любит, когда... Потом пришел Старшина, обругал Мазилу за то, что стенки портит, и сказал, что он — художник от слова «худо», что лучше бы нарисовал голую бабу, да чтобы зад бы... Потом пришел Сотрудник и сказал, что Мазила — художник от слова «худо», что... Интеллигент сказал, что он потрясен таким единомыслием в области эстетических воззрений общества, и попросил Мазилу нарисовать этим кретинам голую бабу. Мазила нарисовал голую бабу с такими мощными половыми органами, что даже арестантам стало немного стыдно».

<sup>10</sup> Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979, с. 132.

<sup>11</sup> Зиновьев А. Зияющие высоты. Т. 1. м., 1990, с. 122—123.

Глава «О бабах» показывает, что женщина в Ибанске может быть только мерилем мужских способностей и возможностей:

«Вот скажи мне сейчас, что там в кустах лежит Венера Милосская и делай с ней, что хочешь, говорит Паникер, я даже не шевельнусь. А за пайку хлеба я бы, пожалуй, остатки Сержанта и Интеллигента приволок. Такой жратвы, говорит Мерин, едва хватает на то, чтобы расстегнуть штаны. А уж об застегнуть и речи быть не может. Кому как, сказал Жлоб. Я бы сейчас пару штук запросто сделал. Все знали, что это не пустое бахвальство. Когда батальон был на переформировании в Д (вот житуха была!), Жлоб за ночь обходил все деревни в радиусе пятидесяти километров и трахал по двадцать штук попадавшихся по дороге баб. А утром как ни в чем не бывало становился в строй. Обидно только, говорил он, что ни одну в рожу не видал и звать как, не знаю. Убьют — чей образ будет стоять перед глазами, чье имя будут шептать уста? У нас в училище, говорит Пораженец, был курсантишка. По фамилии Членик. Малюсенький-малюсенький... Кто-то в шутку сказал, что у Членика даже член больше, чем он сам. Слух об этом распространился по гарнизону, и Членик имел бешеный успех в среде офицерских жен. Хотя они его вскоре дезавуировали, он успел приобрести мощный опыт и стал грозой гарнизонного начальства. Он подкупал (а зарабатывал он на этом деле здорово!) всех дежурных, дневальных, часовых и старшин и каждую ночь отправлялся в самоволку. Он даже Сотруднику ухитрялся подкидывать кое-что из того, что ему перепало от его же собственной мегеры. Утром у себя над койкой на стене палочки чертил. Большие — число баб, маленькие — число раз. Если верить этой бухгалтерии — выдающийся талант был. И чем же закончилась его карьера? — спросил Уклонист. Обычно, сказал Пораженец. Зависть. Подловили и за самоволку отправили в штрафной»<sup>12</sup>.

Кроме того, женщина становится предметом различного рода карнавальных снисжений, скабрёзных шуток, анекдотов, «баллад» — своеобразных брехтовских «зонтов»:

Слышал как-то я, ребята,  
Что была любовь когда-то.  
Только думаю, что врут.  
Баб не любят, а дерут»<sup>13</sup> и т. д.

Попытка установить новые половые отношения сопутствовала и реализации революционной утопии в России. Так, Коммунистическим университетом имени Я. Свердлова 10-тысячным тиражом в 1924 году была выпущена книга профессора А. Залкинда «Революция и молодежь», в которой была предпринята попытка фундаментально обосновать воззрения пролетарской этики на библейские заповеди. Все они получали извращенную интерпретацию, причем порой автор заходил столь далеко, что в предисловии к книге ректор Коммунистической академии М. Лядов (один из первых историков партии) отмечал ее «спорный» характер. В частности, предлагалось «диалектически подойти к убийству», заповедь «не укради» подменялась «этической формулой товарища Ленина» «грабь награбленное». «Коллективизм, организация, активизм, диалектический материализм — вот четыре основных мощных столба, подпирающих собою строящееся сейчас здание пролетарской этики, вот четыре критерия, руководствуясь которыми всегда можно уяснить, целесообразен ли с точки зрения интересов революционного пролетариата тот или иной поступок»<sup>14</sup>.

С особой же яростью и последовательностью автор пытается регламентировать половые отношения. Многие его положения сегодня кажутся комичными, хотя они куда более чудовищны: «Половая жизнь — для создания

<sup>12</sup> Там же, с. 272—273.

<sup>13</sup> Там же, с. 60—61.

<sup>14</sup> З а л к и н д А. Б. Революция и молодежь. Цит. по: «Родник». Рига, 1989, № 9, с. 63.

здорового революционно-классового потомства, для правильного, боевого использования всего энергетического богатства человека, для революционно-целесообразной организации его радостей, для боевого формирования внутриклассовых отношений — вот подход пролетариата к половому вопросу.

Половая жизнь как неотъемлемая часть прочего боевого арсенала пролетариата — вот единственно возможная сейчас точка зрения рабочего класса на половой вопрос: все социальное и биологическое имущество революционного пролетариата является сейчас его боевым арсеналом»<sup>15</sup>.

После этой декларации автор предлагал свои «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата». Вот некоторые из них:

I. Не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата...

II. Необходимо половое воздержание до брака, а брак лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (т. е. 20—25 лет).

III. Половая связь — лишь как конечное завершение глубокой всесторонней симпатии и привязанности к объекту половой любви.

V. Половой акт не должен часто повторяться...

VI. Не надо часто менять половой объект. Поменьше полового разнообразия.

IX. Половой подбор должен строиться по линии классовой, революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специального полового завоевания.

(...) Революция, конечно, не против широких плеч, но не ими, в конечном счете, она побеждает, и не на них должен строиться, в основе, революционный половой подбор. Бессильная же хрупкость женщины ему вообще ни к чему: экономически и политически, т. е. и физиологически, женщина современного пролетариата должна приближаться и все более приближаться к мужчине.

(...) Основной половой приманкой должны быть основные классовые достоинства, и только на них будет в дальнейшем создаваться половой союз.

X. Не должно быть ревности. (...) В ревности боязнь чужой, т. е. и твоей лжи, чувство собственного ничтожества и бессилия, животнo-собственнический подход, т. е. как раз то, чего у революционно-пролетарского борца не должно быть ни в каком случае.

XI. Не должно быть половых извращений (...) всеми силами класс должен стараться вправить извращенного в русло нормальных половых переживаний.

XII. Класс, в интересах революционной целесообразности, имеет право вмешаться в половую жизнь своих сочленов. Половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, во всем его обслуживая.

(...) Чутким товарищеским советом организуя классовое мнение в соответствующую сторону, давая в искусстве ценные художественные образы определенного типа, в случаях слишком грубых вмешиваясь даже и профсудом, нарсудом и т. д., и т. п., класс может сейчас дать основные толчки по линии полового подбора, по линии экономии половой энергии, по линии социализирования сексуальности, облагораживания, енгенирования ее»<sup>16</sup>.

Характерна здесь и апелляция к енгенике, ставшая основой для булгаковского «Собачьего сердца», и совершенная уверенность в наступлении эры новой этики, в реализации утопии тотального регулирования интимных отношений.

Итак, если утопия регламентирует жизнь человека во всем, в том числе и его сексуальную жизнь, то чувственность и скабрзность становятся порой предметом особого внимания антиутопии. *Утопия до развращенности целомудренна*, ибо степень государственно регламентированного разврата достигает той точки, когда качество переходит в противоположное.

<sup>15</sup> Там же, с. 64, 65.

<sup>16</sup> Там же, с. 64—67.

*Антиутопия же развращена до целомудренности*, ибо отказ участвовать в государством благословенном разврате становится показателем целомудренности героини, «приватизации» ее изначально приватной интимно-чувственной сферы. У Дж. Оруэлла мы читаем:

«Партия стремилась не просто помешать тому, чтобы между мужчинами и женщинами возникали узы, которые не всегда поддаются ее воздействию. Ее подлинной необъявленной целью было лишить половой акт удовольствия. Главным врагом была не столько любовь, сколько эротика — и в браке и вне его. Все браки между членами партии утверждал особый комитет, и — хотя этот принцип не провозглашали открыто — если создавалось впечатление, что будущие супруги физически привлекательны друг для друга, им отказывали в разрешении. У брака признавали только одну цель: производить детей для службы государству. Половое сношение следовало рассматривать как маленькую противную процедуру, вроде клизмы. Это тоже никогда не объявляли прямо, но исподволь вколачивали в каждого партийца с детства»<sup>17</sup>.

Одновременно пропагандируется «искусственное осеменение на общественных пунктах» — суррогат, символ еще большего разврата, нежели сотни мужчин Джулии... «Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя — то хотя бы извратить и запачкать». Извращенной и запачканной выглядит в антиутопии любовь разрешенная, «легальная».

Если прибегнуть к методологии Э. Берна, то мы заметим следующую закономерность. Женщина в антиутопии только в сексе становится «ребенком», таким же «ребенком», как и ее партнер. Вообще же она стремится к партнерству неравноправному. Цель — стать для мужчины всем: чуткой, заботливой матерью, знающей и чувствующей больше своего неразумного дитяти, мудрым «родителем», наконец, решительным и рассудительным «взрослым», ответственно и логично осознающим и решающим все возникающие проблемы, любимым ребенком, шаловливым и обаятельным.

За исключением «Новых Робинзонов» Л. Петрушевской антиутопия — это литература о мужчинах. Мужские образы ведут здесь свои сольские партии, женские — лишь аккомпанируют. Персонажи-мужчины взаимодействуют со всеми социальными институтами антиутопического социума, вступают в конфликт не только с властными структурами, но и со своими собственными убеждениями, разрываются между садистскими и мазохистскими тенденциями в обществе. А что же делает в это время женщина?

Достаточно даже беглого обзора современной антиутопии, чтобы заключить: антропоцентричность антиутопии — это ее «андроцентричность». Происходит очевидная подмена: вместо изучения психологии антиутопической личности мы можем наблюдать лишь различные проявления мужской психологии. Скажем, *Д-503* в замаятинском «Мы» обладает всеми традиционными мужскими комплексами: это и нежелание иметь ребенка от любящей его женщины, завышенная самооценка, увлеченность работой, влюбленность в свою точность и обязательность, намеренный отказ от собственной эмоциональности ради мнимой рациональности.

Одиноким исключением выглядит лишь небольшая антиутопия Петрушевской. Она составляет как бы альтернативу маканинскому «Лазу», где герой научился время от времени проваливаться, точнее — прорываться под землю, уходить с этой враждебной поверхности.

«Новые Робинзоны» не имеют имен — знакомая по замаятинскому «Мы» особенность. Показывается здесь тщетность утопии бегства в современных условиях. Уехавшие из города в заброшенную глухую деревню герои и здесь не чувствуют себя в спокойствии. На них надвигается голод, и они вынуждены бороться за самое примитивное, «физиологическое» существование.

Глава этого семейства — фактически единственный мужчина в произведении,

<sup>17</sup> Оруэлл Дж. «1984» и лесе разных лет. М., 1989, с. 59—60.



если не считать подброшенного младенца Найдена. В отличие от Ключарева, он не нашел своего «лаза», куда мог бы запрятать жену и дочь. Мир заброшенной деревушки, куда убежали новые Робинзоны,— это мир одиноких и несчастных женщин, и здесь автор оказывается в своей стихии, исследуя социальные проблемы взглядом современной женщины. Кстати, очень характерная для женской темы в антиутопии особенность: только у Петрушевской женщина обладает повествовательным модусом, только здесь автор позволила женщине держать в руках повествовательную нить...

Нищенский, хиреющий быт страшен даже не сам по себе. Такая, скажем, деталь, как отрезанность героев от эфира, от ежедневных новостей с «большой земли» из-за садящихся батареек в радиоприемнике — читателю антиутопии после «Невозвращенца» А. Кабакова и других произведений-спутников видится уже вполне привычной и даже не обращает на себя внимания.

Для рассказчицы куда важнее, например, такая деталь: «За лето мы с матерью стали грубыми крестьянками с толстыми пальцами и руками, с толстыми грубыми ногтями, в которые въелась земля, и, что самое интересное, у основания ногтей возникли как бы валики, утолщения или наросты. Я заметила, что у Анисьи то же самое, и у бездеятельной Марфутки те же руки, и у Татьяны, самой большой нашей барыни и медработника, была та же картина».<sup>18</sup>

Это описание — по сути, грубая натуралистическая деталь — для автора становится подлинной катастрофой жизни, той самой жизни, которая и делает женщину неким приспособляющимся для выживания организмом. Но и приспособление это не спасает Робинзонов, которые обречены покидать насиженные места, скитаться по своей стране в безнадежных поисках тихого уголка.

В статье «Душа России» Н. Бердяев отмечал: «Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия — земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении к государственной власти — так характерна для русского народа и для русской истории.

Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте».

И далее: «Очень характерно, что в русской истории не было рыцарства, этого мужественного начала. С этим связано недостаточное развитие личного начала в русской жизни. Русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. Рыцарство кует чувство личного достоинства и чести, создает закал личности. Этого личного закала не создавала русская история. В русском человеке есть мягкотелость, в русском лице нет вырезанного, выточенного профиля. Платон Каратаев у Толстого — круглый. Русский анархизм — женственный, а не мужественный, пассивный, а не активный. И бунт Бакунина есть погружение в хаотическую русскую стихию. Русская безгосударственность — не завоевание себе свободы, а отдание себя, свобода от активности. Русский народ хочет быть землей, которая невестится, ждет мужа. Все эти свойства России были положены в основу славянофильской философии истории и славянофильских общественных идеалов»<sup>19</sup>.

Но русская антиутопия выросла на философской платформе западничества. Она стала мужским жанром и жанром о мужчинах.

<sup>18</sup> Петрушевская Л. Новые Робинзоны. «Новый мир», 1989, № 8, с. 169.

<sup>19</sup> Бердяев Н. Судьба России. М., 1990, с. 12, 13.